

АЛЕКСАНДР ЯШИН В НАШИХ СУДЬБАХ

НА ЛАВРУШИНСКОМ

Более сорока лет минуло, а я все помню, как в первый раз пришел на квартиру к Александру Яковлевичу Яшину. Рукопись стихов, радовавшая меня в Вологде, в Москве уже казалась слабой. И я мучился, надо ли к нему заходить. Покружась по Лаврушинскому переулку, все же решаюсь подняться к нему на высокий этаж и нажимаю кнопку звонка.

Открывает дверь сам. Высокий, зоркий. И узнает, подает крепкую руку.— «А, земляк! Заходи, заходи!» Я как-то по-глупому извиняюсь за беспокойство, а он, не слушая, тянет меня за собой.

Дело было осенью, прохладным днем. И меня поразило настужь распахнутое окно в его кабинете. Ветер шевелил бумаги на большом столе. Сам Александр Яковлевич — только тут я разглядел — был в шубе и валенках. Заметив мое удивление, сказал: «Люблю так работать, с открытым окном, да и курю много».

За окном, в чистой синеве, золотились купола кремлевских соборов, над ними плыли белые облака. И ветерок восьмого этажа — кто знает — может, напоминал Александру Яковлевичу дыхание осенних Никольских далей. Он накинул на меня теплый халат, а сам в распахнутой шубе по-медвежьи бухнулся в кресло, и в глазах под густыми бровями вспыхнуло пристальное любопытство. И мне стало как-то не по себе. Я смутился, не зная, с чего начать.

Откинувшись в кресле, он закурил и сказал: «Ну, давай рассказывай!..» «О чем рассказывать?..» Молчит, смотрит на меня и ждет. И вот я начинаю говорить о своем отпуске, проведенном в Петряеве, о сенокосе, о хлебоуборке... Но только не о стихах. И с лица его схлынула хитринка любопытства, и осветилось оно хмурой озабоченностью. Тут начались расспросы: какие заработки в нашей деревне (про свое-то Блудново наверняка знал), запасли ли мужики сена для своих коров, чем торгуют в сельповской лавке, каков колхоз-

ный председатель?.. Обо всем этом расспрашивал, думаю, ради того, чтобы понять мое личное отношение к рассказываемому, то есть хотел убедиться, насколько сострадательно вхожу я сам в народную жизнь.

Только после такой исповеди он взял рукопись моих стихов и начал читать с карандашом в руке. Хмуро. Молча... Я затаился в тишине. Не трудно представить, что я испытывал в эти минуты. А потом вдруг спросил: «Ты читаешь матери свои стихи?» Я смущенно признался, что не читаю. Он укоризненно качнул головой: «А надо бы читать — ведь стихи-то о деревне». Помолчал и опять глянул в меня. — «Мать почуяла бы, где сушая правда, а где твое притворство... Надо, Саша, выходить на полную откровенность и с матерями, и с читателями. Вот так, как сейчас я говорю с тобой. Не обижайся!»...

И я — ей Богу — нисколько не пообиделся на такую прямоту Александра Яковлевича. Он тогда отобрал стихи для центральных журналов «Смена» и «Молодой колхозник». И они с добрым напутствием вскоре были опубликованы.

МОЛОДЫЕ ГОДЫ

Иногда мне кажется, что Яшин в моей судьбе был изначально. Пусть в ранние годы я ничего не знал, не слышал о нем, а он уже размашисто шагал по той дороге, по которой предстояло лет через двадцать идти и другим деревенским парнишкам. Имя Яшина впервые прилетело в наши деревни с газетой «Красный Север». Это случилось после войны. А потом, будучи в Вологодском педучилище, я купил только что изданную в Москве книгу Александра Яковлевича «Земляки». Сколько родного, тороватого и красноузорного открылось в ней!.. И навсегда запало в душу вот это певучее, свежее, вологодское...

*Что-то есть в тебе очень хорошее,
На цветной сарафан гляжу —
Словно в юности по некошеним,
По заречным лугам хожу...*

А первая встреча с самим поэтом произошла в Вологодском пединституте. Это случилось в 1948 или 1949 году. И мы, студенты, смотрели на знаменитого гостя, затаив дыхание. Да и преподаватели кучно теснились в зале.

Яшин встал перед всеми, высокий, взглядчивый, с лукавым озорством, и позвал к себе в помощь начинающих поэтов-студентов. Потом мы привыкнем к тому, что он в Москве или в Вологде никогда не красовался на литературных вечерах один — всегда тащил за собой кого-нибудь из молодых, подающих надежды земляков. Но тогда нам-то хотелось слушать только его! И что же? Настоял-таки на своем, окружил себя институтскими литкружковцами. Впервые так близко соприкоснулся с ним и я, еле уняв в себе волнение...

Речь его — что раздумье вслух, на миру, а паузы меж слов — что зацепки за умы и души. Он добивался внимания не красноречием, а зоркомыслием. А потом стал читать стихи. Так же просто, как только что размышлял. Среди того, что тогда прочитал, было стихотворение «Конюх». Как услышал, изумился я от своего поэтического совпадения с Яшиным в этой «лошадиной» теме: у меня тоже было стихотворение «Конюх». И когда очередь дошла до меня, я, страшно волнуясь, прочитал своего «Конюха». В зале вспыхнуло веселое оживление, а Александр Яковлевич встал и обнял меня с каким-то, теперь уж не помню, смешным присловием. Можно сказать, именно с этой минуты, когда его «Конюх» встретился с моим «Конюхом», и началась наша задушевная и верная взаимность до конца его дней.

Уехав в Москву, Яшин напечатал в «Известиях» статью (видимо, самую первую и самую значительную тогда в центральной печати) о молодых вологодских поэтах и прозаиках, о больших творческих возможностях всего русского Севера.

А потом, когда у меня еще и первой книги не было, Александр Яковлевич, приехав в Вологду, сказал, что готовится Всесоюзное совещание молодых писателей, и что он постарается провести меня в число его участников. Но для этого нужны крепкие стихи. Я в глубоком смущении показал ему рукопись готовящейся первой книги «Признание друзьям». Он отобрал из нее стихи и увез в Москву. Вскоре они были напечатаны в журналах «Новый мир» и «Молодой колхозник». И мне выписали делегатский билет на Всесоюзное совещание, где

я вблизи увидел и услышал Шолохова, Твардовского, Леонова — да всех самых знаменитых писателей и поэтов нашей страны... Такая яшинская забота — память на всю жизнь!

НА ВЫСШИХ КУРСАХ

Э то было тридцать с лишним лет назад. Ярослав Смеляков открывает в Ярославле съезд молодых поэтов Северо-Запада России. Говорит он кратко, но выразительно. Юмор его беспощаден.

— Вот,— говорит,— из Вологды вчера прибыли настоящие поэты: четверо сами идут, а пятого на руках несут. Вот это дружеская спайка!.. И зал взрывается смехом и аплодисментами, выискивая глазами нашу делегацию. Конечно, Ярослав Васильевич не пожалел нас ради красного словца, но мы не пообиделись. Мы помнили его грандиозные стихи:

*Если я заболею,
К врачам обращаться не стану.
Обращаюсь к друзьям
(Не сочтите, что это в бреду):
Постелите мне степь,
Занавесьте мне окна туманом,
В изголовье поставьте
Ночную звезду...*

Тогда он прочитал вторую мою книгу стихов «Утренние дороги» и подробно рассуждал о ней на общем заседании съезда. А вечером в гостинице «Медведь» Ярослав Васильевич позвал нас, вологжан, к себе в номер. Располагался он вместе с Николаем Старшиновым — со своим другом и напарником по делам поэзии...

Как много времени уже протекло с той самой первой встречи, а помнится она, как вчерашняя. Склоненное на левую ладонь продолговатое лицо с мудрой зоркостью. И с тем пятнистым загаром, что не сходит годами с лиц людей, прошедших советские лагеря. А Ярослав Смеляков — вот какая чертовщина! — может быть, самый наисоветский из больших русских поэтов — дважды (если не трижды) отбывал каторгу за правду своих слов.

— Вологодские мне очень нравятся! Талантливые, самобытные мужики! Батюшков, Яшин, Орлов... — так он говорил тогда, в ярославской гостинице, и смотрел на нас, сидевших напротив него и Николая Старшинова...

И через год я был зачислен на Высшие литературные курсы в Москве, в семинар, в котором руководил он вместе с замечательным критиком Александром Николаевичем Макаровым.

На этих двухгодичных курсах преподавалось много общеобразовательных и специальных дисциплин. Лекции читали именитые ученые Москвы, а слушателями нашего набора в 1960—1962 годах оказались — надо же было случиться такому богатому стечению обстоятельств — Сергей Викулов, Виктор Астафьев, Евгений Носов, Борис Можжевельник... Ну, и мы, что помладше. Кроме общих занятий, раз в неделю шумно вскипали отдельные — по жанрам — семинары. На них горячо обсуждались наши новые сочинения.

У нас начиналось с того, что мы «по кругу» читали по одному — два новых стихотворения, а Ярослав Васильевич хмуро выслушивал каждого и что-то черкал карандашиком то на сигаретной пачке, то на какой-нибудь бумажной четвертушке. Он был краток в своих суждениях и оценках. И если бы не сидевший с ним рядом критик Александр Николаевич Макаров, обладавший зоркостью увидеть в каждом из нас свою самобытность, пожалуй, и растерялся бы кое-кто перед такой суровостью Смелякова. Он, выслушивая наши стихи, видимо, выжидал таких строк, чтобы изумиться и вскинуть в восторге руку, сжатую в кулак. Но ведь не во всякую же неделю пишутся взрывные стихи!..

Вот читает Владимир Туркин. Он москвич, фронтовик.

В песке лицо...

Лопатка...

Я...

И никого живого кроме.

Но вижу, как на муравья

С виска упала капля крови.

Солдаты мстят. А я — солдат.

И если я до мести дожил,

Мне нужно двигаться.

Я должен!

За мной убитые следят.

И Смеляков вскидывает руку. Тепло, исподлобья, глядит на статного — в сажень ростом — своего семинариста.

— Спасибо за правду! — и поворачивается лицом к нам. — Владимира Павловича надо бы избрать старостой нашей группы. С его высоты широко видно, — улыбается он. И мы охотно соглашаемся с Ярославом Васильевичем — избираем Туркина своим старостой.

Очередь доходит до Новеллы Матвеевой. Она, розовея лицом, вдохновенно читает новое стихотворение.

*Так низко было небо,
Так близко от земли!
Рискуя наколоться
На журавель колодца,
Летели журавли.
Так низко было небо!
Так близко от земли!
Казалось, даже куры
(Не будь такие дуры)
Летать бы в нем могли.
Ты счастлив там, где небо
Касается земли...
Берешь его рукою...
А я хочу такое,
Которое вдали.*

Смеляков вскидывает голову и руку. Он доволен! И мы радуемся, что Новелла Николаевна так сжато и ярко смогла выразить две разные человеческие судьбы. Она уже сидела, склонившись над столом, и слушала наши суждения, и было видно, как под прядями волос, завязанными разноцветными ленточками — голубой и зеленой — настораживались раковинками ее ладони, неплотно прижатые к ушам.

На том семинаре и я прочитал недавно написанное стихотворение «Тетерев». Оно о том, как одинокий человек спас подстреленного кем-то тетерева. Привез на лыжах из леса, и всю зиму жили они, два одиночества, вместе. А по весне отпустил он окрепнувшего тетерева на волю... Это был подлинный случай, услышанный мной в одной дальней деревне... Прочитал я, волнуясь, своего «Тетерева» и увидел вскинутую руку Смелякова...

НЕОСТОРОЖНАЯ «РАЗГАДКА»

Осенью 1961 года, когда мы, слушатели Высших литературных курсов, вновь собрались в Москве, Александр Яшин предложил обсудить на совместном заседании свою новую книгу стихов «Совесь». И раздал в обеих группах по несколько экземпляров. Вернувшись под вечер в общежитие, я закрылся в своей комнате и прильнул к подаренной яшинской книге. Тут и припомнились слова, сказанные Александром Яковлевичем по радио о том, что «хочется, чтобы душа, как и Луна, была увидена со всех сторон...»

Книга «Совесь» меня потрясла. Такой правды и зоркой глубины в современной русской поэзии еще не было.

*Из-за утеса, как из-за угла,
Почти в упор ударили в орла...
Нет, ни дробинок не скользнуло мимо,
А сердце и орлиное ранимо...
Орел упал,
Но среди далеких скал,
Чтоб враг не видел,
Не торжествовал.*

Коварный людской мир, окинутый орлом с предсмертной высоты,— вот трагический образ этой Яшинской книги. В ней гнев на окаян-показуху и призыв к милосердию, угрызения совести и исповедь в любви к Родине. И такой порыв к духовному самоочищению, что многие строки и впрямь воспламенялись в поэтических подтекстах. Это острия правды, спрятанные в строках, что в ножнах. Обнажи их своим умом и поразишься страшным истинам.

Обсуждение Яшинской книги начал Виктор Астафьев. Его страстную похвальную речь, в коей всякое слово увесисто и занозисто, спокойно и мудро уравновесил Евгений Носов. Два Петра — Макаль из Минска и Борисков из Петрозаводска развернулись в размышлениях о природе поэтической правды.

Вслед им и я кинулся в откровенность. Раскрыл книгу и выразительно прочитал вот эти строки:

*...Да, горой встает за обиженных,
Добивается невозможного.
Из какой-то заморской хижины
Вздых дойдет —
Уж она встревожена.
Бескорысть ее широкая
Всеми встречными прославляется;
Выручает чужого, далекого...
И не видит, что тут же, около,
Свой родной человек терзается.
По ночам себя травит махоркою,
От душевных мук не отвяжется...
Может, ей простодушно кажется:
Никакое, мол, горе-горькое
Рядом с нею жить не отважится?..*

— О ком это? — обратился я к затихшим сокурникам. — Кто же у нас она, такая заботница? Выручает далекого, а не видит ближнего, помогает чужому и забывает о своем, родном?

Мой риторический вопрос повис в напряженной тишине. И пошел я напролом. Может, в отчаяньи.

— Ведь такова наша интернациональная политика. Оглянитесь, как скудно мы живем, но как щедро помогаем пролетариям всех стран...

Человек из парткома подал свой голос: — Эка хватил куда! Из двадцати лирических строчек сделал все-ленский вывод...

— А что такого? — приподнял поседевшую голову и с хмурой усмешкой оглядел всех Ярослав Смеляков. — У нас и лирика — что политика. На том стоим...

И я благодарно кивнул Ярославу Васильевичу, оградившему меня от возможных бесед по поводу такой неосторожной «разгадки».

ОЧАРОВАННЫЙ ЯШИН

Однажды Александр Яковлевич приехал проведать нас с Василием Беловым в общежитие Литературного института. Спрашивал, как живется-пишется. Попросил прочитать что-нибудь новое. Я прочитал самое свежее стихотворение «Дождь» о страданиях колхозного председателя.

*...«Ничего,— говорил он льнам,
Ну, а может, себе опять,—
Ничего, приходилось нам
После всяких дождей вставать!»
Темнота и морось кругом...
И машина шла напролом,
Светом фар в полях мельтеша,
Словно там металась огнем
Человеческая душа.*

Я смолк и жду, что скажет. А он привстал и меня обнял. Молча похвалил и Белов. Но поразговаривать нам не пришлось: в коридоре крикнули, что в зале выступает Новелла Матвеева. И мы, конечно, ринулись туда. С Новеллой Матвеевой я учился в одном семинаре на Высших курсах. Но песен ее еще не слышал.

В студенческом зале негде яблоку упасть. Все места заняты. Но, заметив Яшина, организаторы концерта притащили стулья и для нас. Мы утеснились и замерли.

Новелла Николаевна стояла с гитарой, ожидая тишины. В лице ее, полном и круглом, в темно-русых завитках, прикрывавших лоб, в глазах, задумчиво-великодушных,— во всем ее скромном облике сквозила самобытность и некая тайна. И вот — тишина. Новелла, сев на стул, склонилась над звуками, и они шемящим ветерком хлынули в зал. И вслед им возник голос, чистый и теплый. Русский голос, полный нерусского простора.

*Ах, как долго, долго едем!
Как трудна в горах дорога!
Чуть видны вдали
хребты туманной сьерры...*

Неожиданно для себя почувствовал и я, будто бы открылось во мне некое второе зрение, увидел ущелья, водопады... А голос все ворожил, а гитара все зазывала в горы...

*Ах, как тихо, тихо в мире!
Лишь порою из-под мула,
Прошумев, сорвется
в бездну камень серый...*

Смотрю: Яшин улыбочиво вскинул лицо. Белов нахмурился.

*Тишина. Лишь только песню
О любви поет погонщик,
Только песню о любви
поет погонщик...*

И до меня донеслось горное эхо той песни, щипнуло за сердце, и передо мною и во мне просиял далекий тоскующий взгляд жены.

*Ну, скорей, скорей, мой мул!
Я вижу, ты совсем заснул:
Ну поспешим — застанем
дома дорогу!..*

Гитара звуковым вихрем отозвалась в руках Новеллы, взбудоражила зал ожидаемой радостью.

*Ты напьешься из ручья,
А я мешок сорву с плеча
И потреплю тебя,
и в морду поцелую.*

Зал взорвался веселыми аплодисментами. Александр Яковлевич хлопал, кажется, жарче всех. Он был очарован этой песенкой о горной Испании.

С таким же успехом Новелла Матвеева спела свои песни о Киплинге, о Роберте Бернсе, о караване, шагавшем через пустыню... Яшин сиял!.. Да, красота поэтического воображения — это единственная возможность спастись от жестокой действительности. Но только на время, на малое время...

«ВОСПОМИНАНЬЯМИ БУДУ ГЛЯДЕТЬ...»

Однажды приехал я в Дом творчества, в подмосковное Переделкино, и решил навестить Яшиных. Дача их была на краю поселка, почти в самом лесу. Волновался и сомневался: надо ли беспокоить? — но все-таки шел и шел. Александр Яковлевич, к моей радости, оказался на даче. Тепло просияла его усталая задумчивость. Ничего, кроме чая, мы не пили, а разговор охмелил обоих.

— Пойдем к Сельвинскому! — вдруг загорелся он. — Ты хоть что-нибудь о нем знаешь?

— В институте читал «Улялаевщину» и «Пушторг», — припомнил с трудом я.

Яшин встряхнул головой и вскинул руку.

*Если захочешь меня проклясть,
Буду униженной всех людей,
Если ослепнет влюбленный глаз,*

*Воспоминаньями буду глядеть.
Сколько отмучено мук с тобой,
Сколько иссмеяно смеха вдвоем!..*

— Это «Белый песец», — сказал он. — А еще у Сельвинского люблю «Охоту на тигра». Пойдем к нему.

Я — из любопытных. Тянет понять инородное. Сопоставить с родным, заветным. Зренье твоё освежить, углубить...

Дача Сельвинского была помаститей Яшинской. В два этажа, с резной лестницей наверх, в кабинет хозяина. Таких писательских кабинетов я еще не видал: стены — из книг, а пол — из медвежьих шкур... Илья Львович крепко обнял Яшина, мне приветливо подал руку.

У Александра Яковлевича есть два стихотворения, посвященные Сельвинскому.

*Для чего нам сила дана?
Мы затворниками живем —
Дым столбом,
И ночи без сна...
А еще говорят: поем!..*

Эти строки и вспомнились мне, когда за огромным столом, заваленным рукописями, заулыбался и забасил Илья Сельвинский.

— Тружусь над Иваном Грозным. Не дается пока. Ух, какая глыба!.. — он смахнул огромной ладонью уже поседевшую гриву волос слева направо, и в его крупном лице проступила хмурая озабоченности.

— Стихи ведь — речь неестественная. Борьба со словом, что борьба укротителя с тигром. Две строки из чегырех мы пишем так, как хочется, третья строка приходит от нашего дарования, а четвертая — от нашей бездарности. Вот эту-то четвёртую и трудно спрятать так, чтобы из нее не вылезали уши...

Тут уж и во мне вскинул интерес к старому мастеру. Да и Яшин заострил боевой взгляд: — Так пишете белым стихом...

— А с ним легко впасть в раешник...

Теоретические рассуждения о стихотворстве, о поэзии любопытны лишь поначалу, но вскоре они утомляют. И сама Поэзия не любит рассуждений о ней. Теоретикам, пишущим стихи, она мстит сухостью слова...

ПО ШЕКСНЕ-РЕКЕ...

Белый теплоход плывет по большой воде. Позади холмы Шексны, а впереди, как призрак, восстает со дна затопленная церковь. Из пустых глазниц выпархивают черные галки... Яшин встряхивает головой, протирает глаза: не мерещится ли? Нет, не мерещится. Это всплывает страшная правда из нашей затопленной жизни... Ему больно, горько, нездоровится что-то...

В каюте, расположенной наверху теплохода, вблизи от капитанской рубки, он один. Друзья-товарищи, вологодские и приезжие писатели, размещены пониже, в многоместных отсеках. А наверху он один. Эта каюта лучшая на теплоходе — тихая и светлая. И в ней он — старейшина, будто капитан всей писательской бригады. А плывут они в древние грады — Кириллов и Белозерск, а затем в Липин Бор и Вытегру. На встречи с народом...

Бывают события будничные и значительные. Но мы зачастую не различаем и путаем их. Вот и тогда, в августе 1967 года, мы думать не думали, что этот заплыв по Волго-Балту окажется знаменательным в жизни каждого из нас. Даже более того: он предстанет потом во времени, как событие символическое. Но кто из нас видит, где светится перст Божий?..

Мы просто радовались тогда, что с нами Яшин, что мы все вместе и что впереди нас ждут шумные встречи и добрые застолья. Мы были молоды! А Яшин, которому исполнилось только всего 54 года, казался нам не то чтобы старым, а уже многопрожившим мудрецом. Да так и было на самом деле.

Он молодец от радости, что рядом с ним Василий Белов и Николай Рубцов, Виктор Коротаев и Борис Чулков, Сережа Чухин и Леня Беляев... Он глядел на каждого из них с пристальной любовью и надеждой. Мы поднимались к нему в каюту, словно в гнездо орла, и он весело распахивал руки, принимая всех под свое крыло.

И опять жаркие разговоры, и опять испытующий нас зоркий взгляд. Один Белов был бесспорен для него и в своем творческом могуществе. И резкие суждения он иной раз поверял по нему: скажет и ждет, как отзовется Василий Иванович. И Рубцов сильно притя-

гивал к себе еще неразгаданной, но уже опалявшей тайной своего стиха. И плыли мы так несколько дней, и ломались дома культуры и клубы в городах и селах от народа. И было это торжеством вологодской талантливости и единения со своим народом.

Теперь, когда вспоминаю эту поездку, сразу укрупняются во мне все незабываемые моменты тех уже далеких дней. И слышится оттуда яшинский голос...

И вижу я, как белый теплоход плывет по большой воде, затопившей древнюю русскую землю, и вижу ту высокую, похожую на орлиное гнездо, каюту, и в ней Яшина — с рыжеватым вихрем волос и с орлиным прочерком гордого профиля.

От тех дней остались фотографии, где-то хранится документальный фильм, но самым вечным свидетельством оказались стихи Николая Рубцова «Последний пароход».

*...В леса глухие, в самый
древний град
Плыл пароход, встречаемый народом...
Скажите мне, кто в этом виноват,
Что пароход, где смех царил и лад,
Стал для него последним пароходом?*

ВЕРНОСТЬ ВОЛОГДЕ

*...Это — как верность Вологде.
Жил я там в холоде, голоде,
Спал на газетах в редакции
С «Красным Севером» в изголовьи...*

В 1966—1967 годы Александр Яковлевич очень много работал. И часто приезжал из Москвы в Вологду. Еще на вокзале, при встрече, говорил мне: «Привез ворох стихов!» и весело сгребал меня в охапку. Я тревожно радовался его радостью, видя, как он похудел, словно выше стал, а усы будто повыгорели. В гостинице, чуть отхлебнув горячего чая, уже распахивал чемодан и вытаскивал из недр его новые стихи. «На, выбирай для «Красного Севера» и для молодежи. Верю твоему слову!..»

Брать в руки новые стихи Яшина, видя, как задумчиво склоняется он над стаканом чая и ждет твоего слова — суровое испытание на честность и правди-

вость. Взгляд его был настолько пронизателен, что спрятаться от него ни в каком умствовании было невозможно. Чуть заикнись фальшиво — тут же тебя опалит горькая яшинская усмешка... Так обжегшись и раз, и два, и три, я почувствовал, что и с моей души слетают теги лицемерия. Оказывается, что и самому легче так жить-быть. И открывается во мне второе зрение, и жизнь наша предстает во всей беспощадной правде. И все яснее проступает зыбкая черта между истиной и ложью... Вот что значило для меня брать в руки новые стихи Яшина и тут же высказывать ему, великому земляку, свое мнение о них.

А потом мы бродили вдвоем по Вологде. Ведь тысячи раз за минувшие годы пройдено по этим улицам и набережным, а все равно таилась в них для нас неутолимая отрада. Мы шли медленно и часто молча, а было так хорошо обоим! Я видел, что в Александре Яковлевиче уже зреют, уже тревожат его новые строки...

Из чего рождались стихи? А из удивления, что прожитая жизнь никуда, оказывается, не исчезла, она все тут, где и мы, только как будто переместилась на другой берег Вологды. Да, она уже на противоположном берегу этой милой, осененной белыми храмами реки — реченьки наших судеб. И голоса оттуда долетают до нас. И руками оттуда машут...

*Как нам любилось!
Как улыбалось!
Самое-самое
Близким казалось...*

Александр Яковлевич часто останавливался, светлел или мрачнел лицом, чуть ли не забывая, что я рядом. А потом вновь возвращались мы на правый берег Вологды, в жизнь, обступавшую нас тревожными предчувствиями и страданиями...

«СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ
ДОБРЫЕ ДЕЛА!»

Александр Яшин еще не до конца нами прочитан и понят, хотя о творчестве его написаны многие исследования.

*...А в чем моя вера!
Опора?
Основа?
Кого для примера
Братъ —
Снова Толстого!..*

С такими вопросами, «конечно, проклятыми, конечно, немодными, давно — бородатыми, и все — переходными», он подходил к завершению своей жизни. Она оказалась короткой — в 55 лет, но воистину трехмерной. Яшин обладал таким божьим даром, который позволял ему слитно жить и текущим, и минувшим, и будущим — всеми тремя временами сразу. Такова эта духовная сущность. Она означает верность народной памяти и долговому родству. Правду слова и мужество поступка. И поверку дел своих совестью.

В последние годы свои он шел в творчестве и в раздумьях по крайней мере лет на тридцать впереди самой жизни. И предугадал потому многие социальные явления, открывшиеся явно лишь ныне. Один образ Павла Мамыкина из повести «Сирота» — этого мирского захребетника, этого негодяя-дельца, каких ныне уже тьма-тьмушая — чего стоит!.. До Яшина никто из писателей не разглядел страшную сущность таких «новых» людей.

«Ложь во спасение — смерть для души», — пометил он для себя в 1965 году. Он уже прошел искушение ложью — как ее ни называй — святой или дьявольской, но он прошел сквозь нее. В пятидесятые годы создал огромную поэму «Алену Фомину», за которую был удостоен Государственной премии СССР. И он понял — премия дана за сокрытие трагизма жизни, за подмену правды вымыслом. И вспылал в нем жгучий стыд за свою потачку лжи. И ринулся он напролом к правде!

*Я обречен на подвиг,
И некого винить,
Что свой удел свободно
Не в силах изменить...*

И вот в 1955 году публикует бесхитростный рассказ «Рычаги». Он «взрывается», что бомба. Такого не бывало: Яшин посмел показать, как сердечные и откровенные в своих суждениях люди под партийным руководством превращаются в рычаги железных директив. И подступили к Яшину годы мученические. Но устоял, не пошел на попятную!

Через семь лет печатает «Вологодскую свадьбу». Эта повесть сразу становится знаменитой. Москва гудит. Вологда кипит от негодования, а Ленинград — от удивления. Наш земляк — писатель Константин Коницев тогда телеграфировал: «Питер потрясен яшинской правдой»... Эта удивительно яркая и многоголосая повесть заканчивается авторским признанием о том, какие деревенские подарки привез он в Москву после этой свадьбы... «Все раздарил. Себе оставил только берестяную солоницу, колокольцы да воркуны на кожаном ошейнике. Сижу за столом, пишу да позваниваю иногда, слушаю: «хорошо поют!».

Пожалуй, опрометчиво Александр Яковлевич сделал такое простодушное признание: на жарком обсуждении его «Вологодской свадьбы» в самой Вологде, в городском Доме культуры, набитом тогда злобой и ненавистью, чаще всего ораторов, собранных из Никольска и остальных райцентров, как раз и бесило такое признание. Кричали с трибуны: «Вот этими колокольцами, вот этими воркунами — да по шее бы его, по шее!» Отвратительно было слышать и видеть, что кричали-то так наши же вологодские мужики, правда, в галстуках и с заранее написанными бумажками. Ведь они не хуже Яшина знали о порядках и обычаях загубленной крестьянской жизни. А кричали и клеветали на своего же земляка ради служебной карьеры. Вот такая злоба и вскинула меня ринуться тогда на трибуну в обход всех препон и защитить Яшина.

Александр Яковлевич потом напишет мне: «Ржа ест железо, лжа — душу. Человек, проявивший слабость единожды, может на всю жизнь остаться с переломленным хребтом. А для того, чтобы честно и плодотворно работать в литературе и служить народу, надо иметь хорошее здоровье и прямую спину!..»

В 1965 году Яшин обрадовал читателей прекрасным рассказом «Угощаю рябиной», переведенным на многие языки мира. Он опять хотел этим рассказом достучаться до всех сердец, докричаться до всех властей, как необходимо поднимать из великого разора измученную Россию. Но кто его услышал?...

«Я тутошний, из Блуднова, и это моя судьба», — признавался он ответственно, даже не оглядываясь на свою уже всесоюзную (а, может, и мировую) тогда известность. Он поклялся на верность родине. И дом

построил на Бобришном Угоре, под боком у материнской деревни. И страдал, и сжигал себя в трудах, но отступного шага не сделал.

Искры памяти! Они летят из прожитых лет и обжигают нас то стыдом за содеянное, то раскаянием в грехах своих, то порывом творить, наконец-то, добро. Слышите ли вы, люди, этот живой, тревожный и страстный голос Александра Яшина: «Спешите делать добрые дела!».